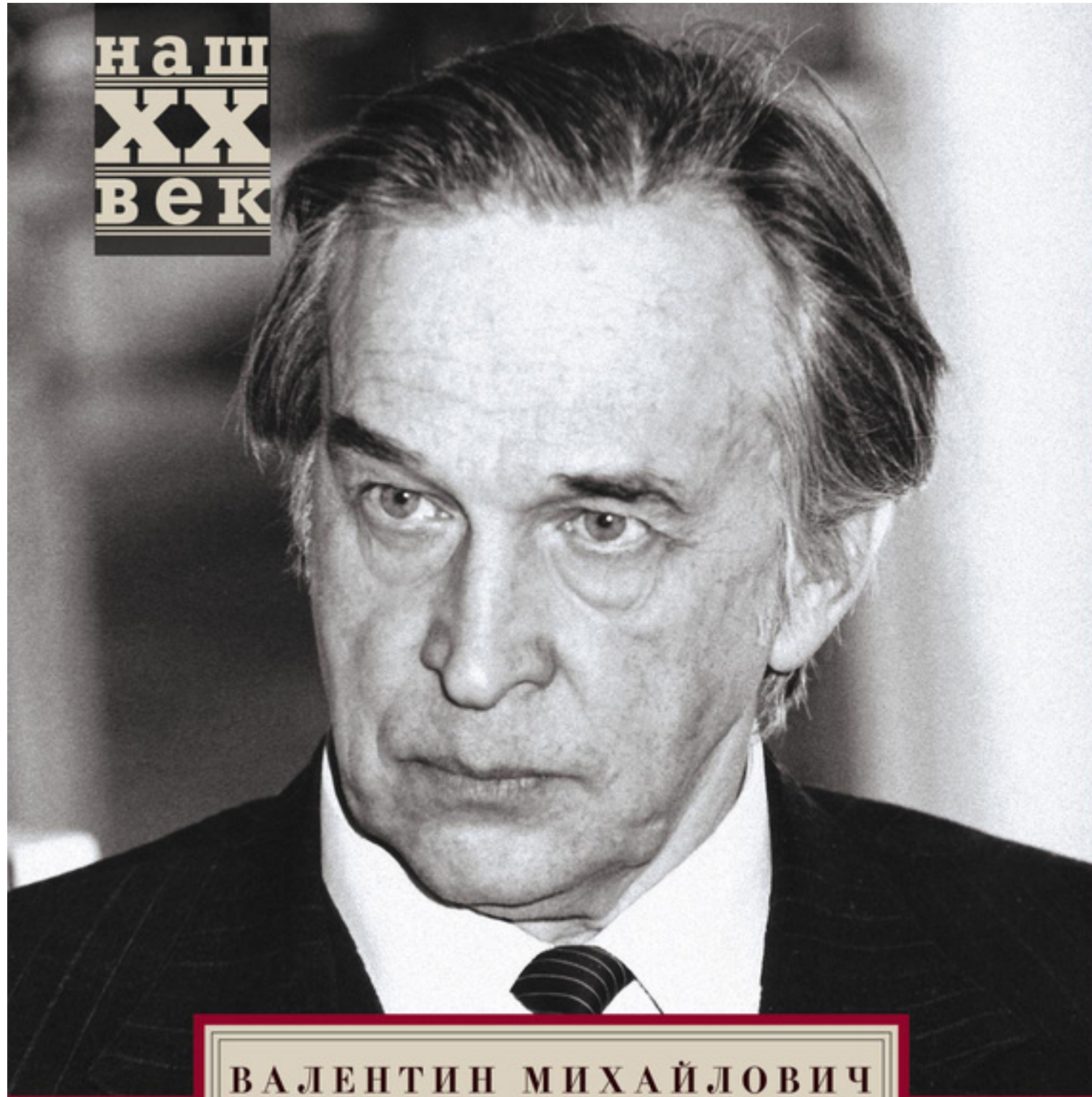


наш
XX
век



ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

ФАЛИН



БЕЗ СКИДОК НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Наш XX век

Валентин Фалин

**Без скидок на обстоятельства.
Политические воспоминания**

«Центрполиграф»

2016

УДК 929
ББК 63.3-8

Фалин В. М.

Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания /
В. М. Фалин — «Центрполиграф», 2016 — (Наш XX век)

ISBN 978-5-227-06561-2

Центральное место в воспоминаниях В. М. Фалина отводится острейшей борьбе, которая шла вокруг одной из самых сложных послевоенных проблем – германского вопроса. Автор рассказывает также о принятии руководителями Советского государства решений по таким затрагивающим судьбы всеобщего мира вопросам, как войны в Корее и в Афганистане, урегулирование кубинского и ближневосточных кризисов, события в Чехословакии в 1968 г., и многим другим, впервые открывая завесу секретных маневров ведущих советских и зарубежных деятелей.

УДК 929
ББК 63.3-8

ISBN 978-5-227-06561-2

© Фалин В. М., 2016
© Центрполиграф, 2016

Содержание

От автора	6
Вместо предисловия	7
О себе и про себя	11
Берлин и далее с остановками и пересадками	27
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Валентин Фалин
Без скидок на обстоятельства.
Политические воспоминания

© В. М. Фалин, 2016

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

* * *

Посвящается Нине, моей жене.

Ей я обязан жизнью, читатель – появлением этой книги

От автора

Предлагаемая вашему вниманию, уважаемый читатель, книга была написана по настоянию моих немецких друзей. Их интересовала в первую очередь подоплека развития германской политики СССР. Это предопределило структуру и соотношение различных частей изложения. Весьма скупо оказались освещенными американское и китайское направления советских интересов, отношения с Англией, Францией, Италией, с рядом авторитетных стран «третьего мира», с Кубой и нашими бывшими союзниками по Варшавскому договору.

Незаслуженно опущены имена многих достойных людей, особенно из области науки, искусства и культуры, с которыми меня связывали и связывают десятилетия тесных дружеских отношений и симпатий. Это ни в коем случае не должно восприниматься за признак отчуждения или забвения, может быть, самых светлых страниц из собственного прошлого.

Еще одно замечание во избежание недоразумений. Часть диалогов передается в книге в форме прямой речи. Естественно, это не стенографическое, а смысловое воспроизведение имевшихся разговоров. Перед изданием немецкого варианта книги автор во избежание неточностей отдавал соответствующие разделы рукописи на просмотр своим партнерам из ФРГ. В ответ были высказаны пожелания семантического свойства, не менявшие сути. Это укрепляет меня во мнении, что позиция остальных персоналий также не претерпела под моим пером искажений, по крайней мере намеренных.

На мой взгляд, было бы неверно готовить специально русскую версию «Воспоминаний». Тем более что автор не склонен гнуть шею либо вертеться флюгером, соглашаясь с новейшими поветриями. Малевать прошлое в один цвет – любой, не только черный – удобно, ибо освобождает от сомнений в настоящем и раздумий о будущем. Стоит ли принимать удобство за позицию – это особый вопрос.

Округа одинаковая, но каждый тем не менее живет в своем мире, подметил умный философ. Значит, чему быть – того не миновать.

Тебе следовало идти путем человечества, а не касты. Сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее.

Из дневника А. В. Никитенко – литератора и цензора, выпускавшего в свет первое посмертное Собрание сочинений А. С. Пушкина. Запись датирована днем кончины поэта

Вместо предисловия

«Как было – не напишешь, как не было – писать не стоит труда» – так на протяжении доброй дюжины лет отнекивался я в ответ на обращения друзей и издателей, многократно побуждавших меня взяться за перо и повести читателя за кулису событий, свидетелем и участником которых мне выпало стать. Это было твердо сложившееся мнение не верить бумаге чувства и мысли, а чтобы соблазны не искушали, дал себе зарок дневниковых записей не вести, копии служебных документов не снимать, не подбирать вырезок из журналов, газет, кои зачастую и складываются в мемуары. Численник – вот единственное исключение, которое я себе позволил, чтобы не заблудиться в тысячах дат и имен, скапливавшихся с годами. Если возникнет вопрос: «Когда что-то случилось и кто при сем был?» – ответ должен был быть под рукой.

Почему созрело решение отозвать данный самому себе обет молчания? Формально ведь и прежде мне не вешали замок на уста, а сам я в дискуссиях не на публику, при встречах с коллегами по науке или прессе отнюдь не цеплялся за спасительное – чем короче язык, тем целее зубы. Причем не только в пору вседозволенности, прозванной для благозвучия гласностью, но также ранее, в долгую полярную ночь воздержания, когда языки усекались вместе с головой.

Причин и резонов не подражать иным образцам, не доводить, как выражались наши острословы, моду до крика имелось много. И разных. Мои партнеры и собеседники, домашние и иностранные, исходили из того, что я не злоупотреблю их искренностью и доверием, не стану по отношению к ним потребителем.

Почти сорок лет провел я сначала у подножия, затем на разных этажах советского Олимпа. На бумагу, что исписал, сочиняя без счета аналитические записки и ноты, проекты договоров и деклараций, послания и телеграммы плюс речи, интервью, статьи, фрагменты книг, и все под псевдонимами от Н. С. Хрущева до М. С. Горбачева, от официального А. Александра до инкогнито В. Капралова, загублен был, наверное, не один гектар леса. Сочинял без лести, преданный интересам Отечества, и без подобоострастия к генеральным секретарям, премьерам, министрам.

На вкус некоторых, держался я слишком высокомерно, не по чину независимо. Соответственно меня воспитывали, тщаь задевать самолюбие по мелочам, а то и по-крупному.

Представили к высшему ордену. Секретарь ЦК партии М. А. Суслов и другой «старец наверху» замечали: «Непедагогично сразу награду такого достоинства; еще успеет заслужить, ему ведь сорока нет». В 1966 г. мою кандидатуру примеривали на пост посла в Великобритании. Отставили – «склонен к своеволию и нужнее в Центре». Замыслили «обкатать» на должности заместителя министра иностранных дел. Шелестят формуляры, доискиваются, не состоял ли я в родстве с карбонариями или с занесенными в списки безвестно пропавших в войну. Подумали и передумали. Формальный повод: «Не имеет опыта самостоятельной работы».

Чудаки! Им и в голову не приходило, что мое равнодушие к карьере и знакам отличия – не поза. Ни разу я не просил предоставить мне ту или иную должность в государственном или партийном аппарате. Это меня приглашали выполнять определенную работу на приемлемых или называвшихся мною условиях, решающее из которых неизменно гласило – право иметь собственное мнение. Предоставляя мне слово, начальство знало наперед, что услышит не заказную мелодию, ласкающую слух, но, может быть, неудобное, подчас колючее суждение. Постепенно уверовали, что не столкнутся со мной на ярмарке тщеславия, и принимали это как данность, как неудобство.

Невидимые миру слезы, сказал бы Н. В. Гоголь. Они сегодня как прошлогодний снег, заметит циник. Спору нет, но я стараюсь достоверно объяснить, чему обязан относительным политическим долголетием, как удалось во всех передрыгах уберечь собственное кредо и не

растерять главное свое богатство – расположение друзей, сделать понятным, наконец, почему непросто мне преодолевать звуковой барьер. Даже теперь, когда все рушится, когда сплошь переиначиваются опознавательные знаки, флаги, шкала ценностей и происходят перемены на микро- и макроуровне, требую от каждого занять четкую позицию – без обиняков.

На дворе инфляция, гиперинфляция идеалов. Бывший Советский Союз – сплошное торжище. В политике за жалкие сребреники или вовсе по нулевому тарифу сбываются достоинство и честь, распинаются убеждения. Такие понятия, как уважение к наследию народа и благодарность отцам, вызывают гомерический хохот. История в очередной раз деградирует в королевство кривых зеркал, в прислужку текущей корысти. И чем скуднее знания, тем хлеще набор фраз. Чем безграничнее власть, тем раскаленное клеймо.

Глядя на рвущихся поплясать на руинах Отечества, невольно ловишь себя на мысли, сколько, оказывается, у нас было потенциальных героев и еще, сверх того, провидцев, отсиживавшихся до поры в кустах. А прилипал, коим быть лишь бы вблизи кормил и кормушек, без разбора, – им несть числа, их – тьма.

Ладно бы молодежь – ей от века положено стоять чуть левее (или правее) здравого смысла, посягать на лежащий камень, под который без ее фрондерства вода не потечет. Но перезрелые мужи и молодящиеся старцы в роли болтающихся между полями притяжения маятников? Постыдное зрелище. О них писал поэт: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошлого, пресмыкаясь перед одним настоящим».

Неужто мы все те же язычники, что и в канун возникновения российской государственности? Так же при прощании несем на костры живых и несметные сокровища. Прежде – во славу, ныне – в отместку, раньше – за упокой души человека, теперь – системы. Вот, пожалуй, и вся разница. Зреть подобное и смолчать?

История состоялась. Не по идейному ранжиру и не по графику, вычерченному кабинетными политологами. В нашем столетии она выказала запредельно крутой нрав. Пороки так долго и упрямо теснили добродетели, что от восторгов, которыми привечали рождение «золотого XX века», не осталось следа. И мы, перегруженные разочарованиями и тревогами, понуро плетемся в свой судный день, навстречу третьему тысячелетию.

Да, словно про каждого из нас и наших современников написал французский писатель XVII в. Жан де Лабрюйер¹: «Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще печальней». И просится добавить – омрачить не финал лишь собственной биографии, а участь тех, кому придется разгребать напластования проблем, оставляемых нами после себя.

Все стало ныне более относительным и временным, чем когда-либо прежде. Сама жизнь берется взаймы под высокий процент. Уже жизнь не отдельного индивидуума, но наций, человечества в совокупности. А временщики, согласитесь, в любую эпоху и при всяком режиме – почти сплошь хищники, как бы они себя ни величали. Временщики особенно падки сводить дело к категориям чистогана, упрощать сложные проблемы так долго и усердно, покуда целостный мир для всех не сведется к замкнутому мирку для одного себя. Законченному эгоисту и в голову не придет, что его «сегодня» тоже вышло из «вчера» и что своим сиюминутным он не вправе истреблять чужое «завтра». Эгоисту удобнее не донимать себя мыслью, что не столько соседство, сколько связь времен делает нас цивилизацией.

Все стало относительным и лабильным, сказал я и осекся. Неверно это. Не само по себе стало. Наши неразумение и прихоти сделали Землю менее приветливой для житья. Главной заботой ведущих правительств в XX столетии было приспособление планеты к запросам геополитики разных мастей и калибров, к горячим и холодным войнам, «ограниченным» и тоталь-

¹ Автор книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688). (Здесь и далее примеч. авт.)

ным. И никто не сможет, не насилуя истину, утверждать, что на этом шабаше он являлся лишь созерцателем.

Говорят, время лечит. По прошествии ряда лет действительно можно более верно оценить масштабы случившегося. Но время не в состоянии отменить того, что свершилось или могло свершиться. Даже богам не дано сделать бывшее небывшим, предупреждали античные греки, призывая – так, наверное, надо их толковать – не совершать ничего, в чем пришлось бы позже раскаиваться.

Чтобы познать явление, надо понять его суть. Но чтобы понять, надо знать. Только знание освобождает от предрассудков, обладающих демонической силой. Запреты на знания, как и опасные для жизни недуги, удастся порой одолевать. Хотя делать это не становится проще.

В век сплошного популизма вы лишаетесь права на личную, без соглядатаев жизнь, на неприкосновенность своей чести. Вызвать оскорбителя на дуэль невозможно и даже противозаконно. Извольте просить милости у суда, где вашу честь станут полоскать в параграфах, писанных чуждым почерком, утюжить до стандарта, да еще на виду у любителей таких зрелищ.

Что остается? Не в состоянии вызвать на дуэль – говори правду. Правдой можно сразить, но нельзя никого оскорбить, если она – подлинная правда, вся правда, и только правда. Убежден, что человек сохранит свое достоинство, если будет держаться правды.

Игнорирование фактов не отменяет порожденных ими обстоятельств, но усугубляет последствия. В этом смысле большинство нынешних проблем есть, по сути, плата за недоделанную вчера работу, за не распознанные вовремя императивы, за неумение или нежелание жить по совести. Тут заключен урок на будущее.

Если вспоминать, то очень не хотелось бы, чтобы боль за настоящее и тревога за будущее завели меня на тропу оппортунизма. Конечно, надо бы уберечь себя, читателей и от других крайностей. Воины Тутмоса I, что правил в Древнем Египте, вернувшись из похода, рассказывали о «перевернутой воде» (Евфрат), которая движется вниз, тогда как «истинный поток» должен, подобно Нилу, катить воды «вверх».

Воспоминания есть путешествие в прошлое – в область, которая уже принадлежит всем вместе и никому в отдельности. В любом случае не принадлежит тебе исключительно и ты не вправе распоряжаться им в одиночку. В политике личных воспоминаний вообще не бывает. И для меня это – воспоминания о Родине, о трагедии моего народа и моего поколения, о канувшей в Лету тысячелетней российской истории.

Воспоминания, если заниматься ими всерьез, не придавая новейшим познаниям обратной силы, не выхватывая из прежнего лишь светлые и яркие полосы спектра, – жанр сложный и противоречивый. Заново все пережить, свести воедино то, что лежит на поверхности, и то, что былшем поросло. Предстоит воскрешать то, что терзало душу, приводило в отчаяние, что сам старался предать забвению, как дурной сон.

Воспоминание-раздумье или воспоминание-проклятие? Что на дворе – конец света или свет начала? Образумимся мы, поймем наконец, что из ненависти высеется ненависть, из зла – зло, из низвержения – низвержение? Терпение – основа всякой мудрости, терпимость – единственный путь к согласию. Хотя бы намек на терпимость и терпение, с ними пришла бы надежда. Где они?

Как наловчились мы рассуждать о естественных правах человека, ставя в нужном месте точку и выводя за скобку их же естественные пределы, позволяющие другим членам общества пользоваться одинаковыми свободами. Оглянитесь вокруг, почти никто с открытым забралом не бросается на политическую справедливость. Почему же ее как не было, так и нет? Хотя со времен Аристотеля известно, что она достижима. При некоторых предпосылках. Справедливость «возможна, – учил философ, – лишь между свободными и равными людьми, а гражданин – это тот, кто столько же властвует, сколько и подчиняется власти».

И последнее. Узелков для памяти я не вязал. А если бы попутала страсть стяжательства «будущих разоблачений» и свидетельств человеческих несовершенств, чужих понятно, то, скорее всего, эту гремучую смесь постигла бы та же судьба, что и мой численник. В нем отражались, повторяюсь, даты встреч с иностранными деятелями и соотечественниками за последние тридцать лет. Имена и числа. Сотни и тысячи имен. Ничего больше. Численник пропал в августовские дни 1991 г. Мало что говорящий постороннему, он значил для меня не меньше, чем нотные знаки в партитуре для музыканта. Где он, этот численник, что с его использованием разыгрывается?

Крайне урезанными будут возможности воспроизвести тексты телеграмм, писем, докладных записок. Лично я не слишком высокого мнения о мемуарах, сшитых из документальных лоскутков, которые тщательно отбираются по рисунку и цвету, нередко выворачиваются наизнанку в угоду насущному интересу. Но для перепроверки метаморфоз собственных оценок, которые, разумеется, не враз сложились в систему взглядов, они не были бы лишними.

Придется, стало быть, полагаться в основном на память. При всех несовершенствах этот инструмент обладает и некоторыми преимуществами – он более искренен, чем любая протокольная запись, спрессовывающая многочасовой диалог в пару сухих страниц и выпячивающая какую-то грань, которая представлялась утилитарно важной в момент самой беседы и сбрасывающей в небытие детали, возможно служившие прибежищем дьяволу или, напротив, дарившие уникальный, неповторимый шанс.

Как совместить величины несочетаемого порядка, не смешать краски в тусклое бесконтурное пятно, не поддаться искусу нарисовать политическую реплику «Черного квадрата» художника Казимира Малевича, только еще темнее? «Единственная форма, в которой мы можем выразить свое уважение к читателю, – вера в его ум и душевное благородство», – заметил однажды драматург Бертольт Брехт.

Попробуем в меру сил последовать этому доброму совету.

О себе и про себя

С чего начать повествование? Ведь так и подмывает позаимствовать у А. С. Пушкина – «...и с отвращением читая жизнь мою». На что истрачены безвозвратно силы и годы? Не все и не всегда зависело от тебя. Верно. Обстоятельства, в которые ты попадал или сам загонял себя, могли быть сильнее. Тоже факт. Но, положив руку на сердце, разве тебе наглухо была закрыта возможность учинить вселенский скандал системе, когда она попирала здравый смысл и мораль? Почему же ты довольствовался спорами с ее апостолами и полагал, что, не сдавая собственного мнения, исполняешь свой долг?

Толстовская триада «кто ты, что ты, зачем ты», сколько помню себя, не давала покоя. Политику не почитал за призвание свое и чаще тяготился ею. Будь мне дано прожить жизнь заново, держался бы я на почтительном расстоянии от племени, кичащегося присвоенным правом повелевать миллионами людей, вершить за других, зная, в чем должно заключаться их счастье и несчастье.

Вполне может быть, что в науке или искусстве, к которым тянулась моя душа, я затерялся бы среди многих равных. Зато вне политики несказанно проще оставаться в ладах с собственной совестью и в час заката не доискиваться оправданий, ради чего ты существовал на свете и кому-то умышленно или ненароком преступил дорогу.

Друзья подтвердят – эти мои мысли знакомы им издавна, они не рефлекс на события последних лет, круто повернувшие также и мою личную судьбу. Остается сожалеть, что сомнения и размышления не отлились ко времени в решимость подвести черту под одной жизнью, чтобы начать другую, а надежды, что, всем разочарованиям вопреки, общество социальной, национальной, человеческой справедливости достижимо, что гражданин не из-под палки, а по велению разума может стать добрым соседом, даже другом, не теряя при этом собственного лица, побуждали ко все новым и новым повторам официальных догм.

В свое извинение нам нередко говорят – один в поле не воин или одна ласточка весны не делает. Но позволительно взглянуть на это и иначе. Без ласточки весны тоже не бывает, и один воин способен решить исход целой кампании, стань его энергия и самоотверженность той каплей, что склонит чашу весов. Выжидать, пока кто-то другой попотеет и рискнет, и постараться не запоздать к сбору урожая с чужих мыслей и усилий? Обычай распространенный. Он в арсенале и у тех, кто не упустит случая сослаться на И. Канта и его завет – каждый должен действовать так, как если бы он был в ответе за все человечество.

Перебора иллюзий не было у меня. Опыт жизни никак не способствовал тому, чтобы забылся горький сарказм русского юриста А. Ф. Кони: «...в Отечестве нашем, богатом возможностями и бедном действительностью...» Разве что в первичной фазе перестройки я изменил себе.

Моя мать на дух не переносила М. С. Горбачева, поэтому, видно, к ее телефонному аппарату, как выяснилось позже, пристроили прибор для подслушивания. Я пытался безуспешно переубедить родительницу, доказать ей, что новый лидер обладает задатками для возрождения страны. Жизнь матери оборвалась практически день в день с панихидой по Советскому Союзу. Она видела все и сопереживала, но не припомнила мне моего заблуждения. Скорее простила.

Никто из нас внутренне не свободен настолько, чтобы подняться над средой и тем более над собой. Истина в обыденном понимании – чаще всего то, во что хочется верить. Или что мы приучены почитать за истину. В политике это проявляется весьма контрастно. Жизнь каждого вступающего на политический паркет как бы расщепляется, обретает грани с различной конфигурацией и светопреломлением.

Настоящий политик, как и ученый, не может не быть человеком противоречий, то есть постоянно ищущим, опровергающим, не в последнюю очередь самого себя, допускающим и

выдвигающим альтернативы. И в политике самые лучшие мысли – незаконнорожденные, не приседающие в тишайшем поклоне перед так называемыми «классиками», или, на британский манер, «авторитетами». Повторенная мысль может стать постепенно убеждением. Что и случилось в 70–80-х гг. Упустили, правда, позаботиться о предотвращении того, чтобы убеждения за отсутствием дел не выродились в слова.

«Мы обещаем соразмерно нашим расчетам и выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям». Это не продукт холодной войны, не шлак от противостояния Запад – Восток. Меткое наблюдение сделано в XVIII в. Наше время, однако, придало ему иное качественное измерение.

Люди ведут себя чаще как единоверцы, а не как единомышленники. Общность веры не предполагает обязательно единства действий. В противном случае конфликтов между сообществами одинаковой конфессии не должно было бы быть. Получается, что, провозглашая общие цели, выражая эту общность в совместных коммюнике и декларациях, правительства, партии, политические деятели остаются каждый при своем мнении и интересе.

В 1964 г. мне довелось сопровождать министра иностранных дел А. А. Громыко в Италию. Заключительным аккордом встреч с итальянскими государственными, политическими деятелями, а также деловыми кругами непременно должно было стать двустороннее заявление. Для его составления понадобились затяжные – за полночь – сидения, с привлечением словарей, досье, хранивших формулировки, что применялись в подобных ситуациях на Западе и Востоке. Под свежим впечатлением сизифова труда я набросал эпиграмму: «Сколько сил истрачено, дабы текст отграничить, чтобы твердость звенела, как звенит гранит, чтобы нежность прозвучала искренне, чтобы лож показалась истиной».

Их было в избытке, дипломатических опусов, подобных итальянскому, до и после. Исполненных пафоса, реже гнева, кратких или длиною с товарный поезд. Конечно, они накрепко забыты, как и положено творениям, обслуживающим преходящую потребность. Так и подмывает пропечатать: безвременье апеллирует к эпохе. Но не станем спешить с обобщениями.

Вспомним, что в 40–50-х гг. демилитаризация международных отношений наравне с нейтрализмом и неприсоединением слыла за нечто «аморальное» (госсекретарь США Дж. Ф. Даллес), за «происки Москвы». Встречи государственных деятелей Запада с восточными коллегами имели тогда главным своим назначением демонстрацию невозможности мирного сосуществования и, следовательно, необходимости продолжения и наращивания гонки вооружений. В такой атмосфере подтверждение – хотя бы словесное – объективной ценности мира и готовности признавать его за путеводную звезду было более чем осмысленным. Как, впрочем, и двадцатью – тридцатью годами позже.

«Разоружение и пацифизм сегодня на подъеме, и это могло бы оказать губительное воздействие на судьбу Запада». Бывший президент США Р. Никсон написал сие не по следам «кухонной склоки» с Н. С. Хрущевым или под гнетом Уотергейтского скандала, а в момент обозначившегося прорыва к договоренности по ракетам средней дальности («Чикаго трибюн», 20 марта 1988 г.). Подобных откровений по обе стороны Атлантики было пруд пруди.

Декарту принадлежит афоризм: «Мыслью – значит существую». В наше время его слагаемые поменялись местами: существую потому, что мыслю. Самое позднее завтра надо будет обязательно добавить: мыслю не вообще, а только категориями взаимопонимания и согласия.

Я еще не объяснил, как меня занесло на орбиту, с которой сорок лет черпались кадры для внешней политики.

Вторая мировая война затронула каждого человека в Советском Союзе. Никому не было дано отгородиться от совершавшейся драмы. По моей семье нацистская агрессия прошла, не скупясь на жестокости. Ее жертвами стали мать и сестра отца с пятью детьми, трое из четверых детей другой его сестры, их мужья, близкие и дальние родственники по линии моей матери,

жившие в Ленинграде и его окрестностях. Если прибавить погибших в семье моей жены, то и получится, что среди 27 миллионов советских людей, чью жизнь оборвало гитлеровское нашествие, 27 человек – мои родственники или свойственники.

О чем должен был я думать, что чувствовать, когда замолкли орудия и разверзлась бездна утрат? Без малого семь десятилетий минуло с тех пор, но ком подступает к горлу, стоит мысленно перенестись в весну 1945 г., с на редкость буйным цветением на пропитанных кровью и потом просторах.

Непостижимо – нация, которую у нас привыкли почитать за образец организованности, порядка, культуры, народ великих философов и ученых, поэтов и композиторов породил океан зла и горя. Что же точнее передает его сокровенную суть – высокий дух или кованый сапог? Не хотелось и невозможно было поверить, что дьявольское наваждение нацизма свело опыт двух тысячелетий к всепожирающей жажде господства над миром, за полдюжину лет превратило немцев в гуннов.

«Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ, немецкое государство остаются» – эта высокая политика, продиктованная соображениями державного масштаба, меня в 1945 г. мало трогала. Обещая что-то на будущее, она не отвечала на навязчивый вопрос: кто есть в действительности эти немцы? Оборотни или сами жертвы? Если жертвы, то жертвы кого и чего?

Войн больше не должно быть, никаких: ни малых, ни больших. Ни атомных, ни обычных. Это однозначно. Но желаемое само собой не превратится в действительное. Что нужно застолбить на примере германского агрессора, чтобы никому неповадно было хвататься за меч? Ответ коренился в прошлом. Докопаться до истоков. Иначе останется безвестным палач моего двоюродного не полных пяти лет от роду брата и бабки, которой было уже под семьдесят.

Несчастья, обрушившиеся на семью, понудили меня всерьез заняться германской проблемой в ее самых разнообразных проявлениях. В моей альма-матер, Институте международных отношений, выбран немецкий язык и германистика как профилирующее направление. С одержимостью я набросился на библиотеку, в которую перепало кое-что из трофейного фонда книг по культуре, политике, экономике, истории Германии XVIII–XX вв.

Элемент случайности и тут играл свою роль. Но по закону больших чисел или в силу каких-то других закономерностей почти каждая книга и любая неформально выполненная исследовательская работа, к примеру по буроугольной промышленности Германии, чем-то обогащала. Обогащала хотя бы дополнительными неясностями, сомнениями в том, что кто-то все заранее за нас мог передумать и оставить в подарок толстенный том патентованных решений на все случаи жизни и на все времена.

Студенты склонны к сокрушению святынь. Свежее, неизленившееся и еще не растленное сознание, стремление, присущее каждому или большинству вступающих в жизнь, искать свою идейную высоту, а не обязательно стойло с гарантированным рационом удобств не было изничтожено, несмотря на все старания властей уподобить советскую высшую школу неким прототипам из Средневековья.

О мировоззренческой «чистоте» пеклись не одни дядьки – начальники курсов. В 1946–1948 гг. МГИМО попал в полосу репрессий. Слухи ползли самые разные – кто-то при поступлении на учебу скрыл, что якшался с «врагами народа». Других вроде бы разоблачили в связях с реальным врагом в годы войны. Третьих, как А. Тарасова, моего однокурсника, якобы уличили в принадлежности к «тайной группе», изучавшей по ночам книги Л. Троцкого, Н. Бухарина и других ниспровергателей сталинизма.

Как бы то ни было, вы не могли быть уверены в том, что, придя утром в институт, не обнаружите пустующим стул соседа, вполне приличного, по вашему личному впечатлению, молодого человека. А еще через неделю-две окольными путями становилось известно, что такой-то исключен из партии или комсомола. Далее следовала отшлифованная на тысячах и тысячах жертв формулировка – «за действия, не совместимые с членством в ее (его) рядах».

Мы были не в состоянии пренебречь происходившим, абстрагироваться от реалий. И все же. Даже в удушливой атмосфере подозрительности и доноительства можно было не расстилаться перед оболванивателями, не строить из себя мини-вождей или прихвостней идиотизма с его кампаниями против «формализма в искусстве», «космополитизма», «вейсманизма-морганизма».

Больше того, сходило с рук, когда, скажем, на семинарах по политэкономии и марксизму-ленинизму – к ужасу соответственно доцента Тяпкина и старшего преподавателя Макашова – мой друг Р. Белоусов и я с невинным видом просили разъяснить, как наличие денег совмещается с отсутствием в Советском Союзе рынка или как понимать тезис в «Истории ВКП(б). Краткий курс», что российский рабочий жил в нищете, если несколькими страницами ниже утверждается, что он зарабатывал около рубля в день, по реальному соотношению намного больше советского рабочего.

В 1950 г. я вовсе впал в ересь, выступив с критикой модного тогда фильма «Падение Берлина». Мне, по-видимому, повезло. Так или иначе, слова «фильм вредный и антиисторичный, ибо сопрягает все будущее страны с жизнью и деятельностью товарища Сталина», остались без видимых последствий. Слова неосторожные, сорвавшиеся с языка, потому что кто-то вызвал меня на полемику.

Не исключаю, что благополучным финалом я обязан вдумчивому сотруднику службы безопасности, решившему разобраться, что за фрукт этот студент, который по 12–14 часов на дню корпит над книгами, не посетил за годы учебы ни одной вечеринки, все летние и зимние каникулы провел в библиотеках, живет на стипендию, а когда денег совсем нет, ходит в институт пешком и питается хлебом единым. Сегодня подобный аскетизм мне самому вряд ли оказался бы по плечу. Но в первые послевоенные годы у нас были заниженные представления о насущных потребностях и в чем-то другой взгляд на собственные обязанности.

Июнь 1950 г. Директор Института международных отношений вручает мне диплом с отличием. «Юрист-международник, референт-переводчик по странам Восточной Европы» – так определена в дипломе моя специальность. Что дальше? Есть предложение продолжить учебу в институтской аспирантуре. Заманчиво – не надо менять привычный ритм и образ жизни. Невозможно – болен отец, пора помогать родителям. Последнее, наряду с некоторыми другими личными переживаниями, склоняет в пользу командировки в Берлин, где я должен трудиться в аппарате Советской контрольной комиссии для Германии, пришедшей после образования ГДР на смену нашей военной администрации.

В самой комиссии меня определили в подразделение, занимавшееся сбором и анализом данных по Западной Германии. Это предопределило участие – буквально с места в карьер – в различных мероприятиях, касавшихся проблематики отношений между ГДР и ФРГ, связей между партиями, общественностью, деловыми кругами двух республик, во встречах с видными представителями Запада и Востока, в подготовке предложений и информации, докладывавшихся Сталину.

Летом 1951 г. по возвращении в Союз меня сразила болезнь. Осень и зиму провалялся в госпиталях, а когда врачи благословили на продолжение «под наблюдением невропатолога и терапевта» профессиональной деятельности, опять встал перед ребусом, куда податься. Отец готов поддержать план с учебой в аспирантуре. Уже выбрана научная область. В политэкономии видится ключ к пониманию перипетий бытия. Сданы экзамены. Определились научный руководитель и тема диссертации. И тут выявляется – абитуриент должен пройти «собеседование» в райкоме ВКП(б). Политэкономия отнесена к сфере особо опекаемых партией научных дисциплин. У райкома партии, однако, другие заботы – он, как и все остальные партзвенья, занят подготовкой к XIX съезду. Предложено ждать.

Сколько? Месяц миновал, второй, третий. На исходе пятого и терпение, и мои финансовые возможности требуют прекратить научный эксперимент. Я принимаю предложение руко-

водства Комитета информации при МИД СССР стать его сотрудником. Словно в насмешку буквально через пару дней РК КПСС (так теперь именуется партия) уведомляет о согласии «допустить» меня в политэкономии. Это реально теперь лишь в заочном варианте.

Комитет информации (КИ) вышел из недр аналитической службы объединенной внешней разведки, как она возникла по окончании войны на базе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба и Первого главного управления (ПГУ) Министерства госбезопасности. Разноплановые интересы вскоре возобладали над идеей координации и централизации. От «большого комитета», устроившегося – кому-то пришла в голову фантазия – в зданиях бывшего Исполкома Коммунистического интернационала и возглавлявшегося первоначально В. М. Молотовым, отпали оперативные разведывательные подразделения, естественно, с соответствующими документами и штатами. КИ досталось в общей сложности примерно 150 должностей и право получать (до середины 50-х гг. оно уважалось) не только дипломатическую почту, но и «специальные» донесения, имевшие политическую ценность.

В момент моего поступления в комитет им фактически руководил рассудительный и незашоренный И. И. Тугаринов, а принадлежность к МИД СССР была более или менее формальной. Продукция КИ отправлялась непосредственно на имя Сталина в его секретариат, копии размечались членам политбюро ЦК КПСС и отдельным министрам по спискам, согласовывавшимся опять-таки с помощниками Сталина («малая» и «большая» разметки). Темы информации, если они не задавались свыше, определялись тенденциями развития и значимостью поступавших по различным каналам данных. И вот что заслуживает быть отмеченным – особый спрос предъявлялся к достоверности сообщаемых или кладущихся в основу выводов сведений. Под личную ответственность исполнителей и руководителя, своей подписью санкционировавшего выпуск материала из стен КИ.

Комитет информации не обладал монополией на разработку проблем и анализ дипломатических и прочих документов. Несколько структур, не имевших доступа к произведениям друг друга, параллельно занимались исследованиями, оставляя доверенным диктатора сопоставлять и делать свои оценки.

Со смертью Сталина постановка информационно-аналитической работы претерпела значительную эволюцию. Не обязательно в лучшую сторону. Постепенно из надведомственного учреждения КИ превратился в подразделение МИД СССР, что сделало его занозой в глазах службы безопасности и Министерства обороны. В начале 1958 г. с подачи И. Серова комитет упразднили.

Вместе с двумя коллегами по КИ мы обратились в ЦК КПСС с аргументированными возражениями против ликвидации в стране центра независимой информации. Они получили отклик. В результате появился Отдел информации ЦК КПСС во главе с Г. М. Пушкиным. Отделу вменялось оценивать политические донесения разведслужб, в частности на предмет выявления в них дезинформации, подготавливать инициативные соображения по всему спектру внешнеполитических интересов страны, информационно обслуживать заседания политбюро.

Г. М. Пушкин пригласил меня перейти в аппарат ЦК. Так началась моя партийная карьера, впрочем, быстро закончившаяся после проявленной нами недогадливости или, хуже того, бестактности, поставившей выводы из фактов выше мнения, рожденного безграничной властью.

Почему довольно пространно рассказываю о Комитете информации и отделе Г. М. Пушкина в ЦК? Я приоткрываю дверь неведомых большинству лабораторий, где шла интенсивная и преимущественно честная работа не с химерами, а с первичными данными, из которых складывается информация – хлеб политики и залог ее качества.

Замечу не в скобках: если бы сильные мира сего чаще прислушивались к суждениям специалистов, естественно, не односторонней, как флюс, апологетической школы, и меньше пола-

гались на наитие, на собственный утробный голос, то цивилизация была бы избавлена от части потрясений, которые ей уже пришлось и еще предстоит претерпеть. Именно в наше время вера и знания могут выступать как противоположно заряженные полюса, и только знание, соотношенное с нравственными принципами, способно дать человечеству якорь спасения. Односторонность, подчеркивал еще А. С. Пушкин, – пагуба мысли. Односторонность – пагуба морали, справедливости, права. В конечном счете она отрицание гуманности и свободы.

Опыт пребывания в информационно-аналитических учреждениях был исключительно ценным для меня лично. Он привил навыки обращения с фактами, утвердил готовность защищать правду, когда ее хотят согнуть в бараний рог, позволил заложить основательный фундамент знаний, приносивших пользу в течение десятилетий.

В феврале 1959 г. Отдел информации ЦК КПСС был расформирован. Я собрался было в Академию общественных наук. Заместитель заведующего отделом Т. К. Куприков все уладил, чтобы в «порядке исключения» меня зачислили слушателем АОН в середине учебного года. Это не было слишком серьезным отступлением от регламента: к 1957 г. я сдал все положенные по закону экзамены, оставалось обобщить в основном собранный материал, а дальше – защита диссертации на ученом совете.

Не тут-то было. А. А. Громыко, ставший к этому моменту министром иностранных дел СССР, воспылал желанием перековать меня в дипломаты. Л. Орлов, заведующий Отделом загранкадров ЦК, метивший к министру в заместители, счел нужным показать прыть. Трижды меня вызывали «на ковер». Последний раз в присутствии целой комиссии пугали карами, заявляли, что закажут мне дорогу в науку и откроют – на целину. Мой ответ был «нет».

Домой мне звонит Г. М. Пушкин:

– Ну зачем тебе скандал, а он назревает. В моем добром отношении, надеюсь, не сомневаешься. Именно я порекомендовал тебя Громыко и сегодня на его недоуменный вопрос – не отказаться ли МИДу от Фалина – подтвердил свою аттестацию. Давай условимся так: ты своей позиции не пересматриваешь, но будешь согласен с решением, которое я по-дружески предложу.

Умный и деликатный Георгий Максимович. Он умер совсем молодым. Перегрузки выискали слабое место – сердце. Оно не выдержало, открытое человеческому сочувствию, неравнодушное ко всему, что совершалось вокруг него.

Определили меня в 3-й Европейский отдел МИДа. В наказание за строптивость – на самую низкую должность и с минимальным дипломатическим званием по сравнению с другими сотрудниками бывшего Отдела информации, перекочевавшими со Старой площади на Смоленскую-Сенную. Л. Орлов долго еще будет помнить мой с ним турнир и куражиться. Под конец, что называется, себе дороже. Но в дипломаты меня все-таки сосватали на целых два десятилетия.

В конце 50-х – начале 60-х гг. германская проблема заняла центральное место в европейской политике СССР, в международных отношениях вообще. В качестве эксперта я сопровождал А. А. Громыко летом 1959 г. на совещание министров иностранных дел в Женеве. Тогда и на протяжении 1960 г. частенько попадался министру на глаза, а после того, как несколько моих материалов снискали похвалы «наверху», задания по написанию текстов публичных выступлений и проектов нот не успевал проглатывать.

Дебют в МИДе постепенно забылся, обстоятельствами я был введен во внутренний круг седьмого этажа высотного здания, где размещались служебные кабинеты Громыко и его заместителей. Особых удобств от принадлежности к этому кругу мне не выпало познать. Ни разу не наведаясь в принадлежавшие МИДу дома отдыха. О том, что министерство имеет охотничью базу, услышал, вернувшись из Бонна. И другие материальные стимулы текли как-то мимо меня. Надо было суетиться, умасливать и заискивать, чему я не научился ни тогда, ни позже.

Зато в чем не знал недостатка, так это в работе. Министр держался правила – работать узким составом. Трудно привыкая к новым лицам, он предпочитал навьючивать на, как считалось, своих «любимцев», пока те не спотыкались от изнурения. В 1961 г. мне «повезло» сверх всякой меры. После венской встречи Н. С. Хрущева с Дж. Кеннеди я был прикреплен к первому секретарю ЦК КПСС и председателю Совета министров СССР в качестве эксперта по германским делам и сочинителя проектов его речей. Если учесть, как часто Хрущев выступал, а позже вел интенсивную переписку по германской проблеме, встречался с иностранными лидерами, где Германия тоже не оставалась в тени, легко себе представить, насколько затягивался мой рабочий день. Чаще всего он заканчивался далеко за полночь, а наутро в 9.00 надо было снова занимать свое служебное место.

Но именно тогда я приобщился к тому, что слывет за «большую политику» или что Н. С. Хрущев называл стрельбой из «орудий крупного калибра». Глава правительства не принадлежал к почитателям Громыко и руководства МИДа в целом. Замминистра В. С. Семенова называл «нашим опасным человеком», памятуя его доклады о ситуации в ГДР накануне и после событий июня 1953 г. Насчет министра отзывался так:

– Всегда есть уверенность в том, что Громыко (при мне Хрущев ни разу за глаза не назвал его по имени) буквально выполнит данные ему инструкции, постарается выжать из собеседника максимум, не дойдя сам до края дозволенных встречных уступок. Не ждите, однако, от Громыко инициатив и решений под собственную ответственность. Типичный чиновник.

В мидовских сферах держался упорный слух, что в ходе одного из своих визитов в США Хрущев предлагал послу А. Ф. Добрынину сменить Громыко на посту министра. Посол сумел уклониться от этой царской милости, что, с одной стороны, определило к нему благоволение министра и, с другой, прописало его в Вашингтоне на четверть века.

Громыко боялся Хрущева до неприличия. Когда последний повышал тон, у министра пропадал дар речи. В ответ на тирады главы правительства слышалось дробное «да-да-да», «понял», «будет исполнено». Даже если разговор велся по телефону, лоб министра покрывался испариной, а положив трубку на рычаг, он еще минуту-другую сидел недвижимо. Глаза устремлены в какую-то точку, неизбывная тоска и потерянности во всем облике.

К осени 1964 г. Хрущев просто-напросто третировал министра. Подозреваю, что в это время предвзятое отношение к А. А. Громыко было уже не только рефлексом на несхожесть темпераментов и менталитета, но вынашивавшегося намерения продвинуть своего зятя в руководители дипломатического ведомства. Останься Хрущев самодержцем на несколько месяцев дольше, пост министра иностранных дел достался бы А. И. Аджубею, а его предшественника отправили бы послом, хочю думать, в одну из крупных стран.

Люди есть люди. Сотрудникам МИДа приходилось принимать на себя функцию громотвода, когда уязвленный Громыко искал выход своему раздражению. Разряды, естественно, чаще били по тем, кто рядом. Резко, наотмашь, несправедливо. В результате министр потерял А. М. Александрова-Агентова, затем А. И. Блатова, ряд других достойных людей. Рикошетом доставалось и мне, что весной 1962 г. дало повод для крупного мужского объяснения.

Выполняя очередное поручение Н. С. Хрущева, я допустил огрех – в несчетных редактурах и перепечатках проекта послания президенту Дж. Кеннеди пропал абзац, а с ним существенное, слов нет, соображение, содержавшееся в диктовке председателя. Его помощник О. А. Трояновский засек пробел. Еще до доклада своему шефу он позвонил Громыко и поинтересовался:

– Как понимать, МИД не согласен с мыслью Никиты Сергеевича или?..

Министр сетует на нерадивых сотрудников, благодарит Трояновского за бдительность и вызывает меня к себе для экзекуции почему-то вместе с А. П. Бондаренко.

Не буду передавать подробностей того, чего мы наслушались. Чести министру его риторика не делала. Окончив монолог, сопровождавшийся выразительными жестами, Громыко опустился в кресло. Наступила тягостная пауза.

– По существу случившегося готов принять критику и с ней кару. Если встанет вопрос о моем отстранении от советско-американского диалога (который велся в высоком темпе), сочту это адекватной реакцией.

Произношу это сухим тоном, без всяких интонаций.

Видано ли подобное – не чувствуется раскаяния, недостает самобичевания. И каток начальственного гнева принимается утюжить нас во второй заход.

Прошу Громыко освободить Бондаренко от тягостного сеанса порки, ибо он ни в чем не виноват. Кроме того, мне есть что сказать министру с глазу на глаз.

Кивком министр позволяет Бондаренко удалиться и, как только за ним закрывается дверь, цедит: «Что там еще у вас?»

Произношу медленно, почти по слогам:

– Приношу извинения за то, что подвел вас. Но я категорически отвергаю избранную вами форму объяснения. Никому и никогда не позволял оскорблять себя и не потерплю этого впредь. В МИД, как известно, я не нанимался. Если министерство в моих услугах не нуждается, то я в приемной оставляю заявление об уходе.

Громыко смотрит перед собой. Непроницаемое, суровое выражение лица. Губы сложены в несмываемую кривую улыбку. Мы шутили в своем кругу: «Громыко улыбается, как Мона Лиза». Пальцы правой руки отстукивают одному министру известную гамму на ручке кресла. И обычным голосом произносятся две фразы:

– Вы свободны. Идите и продолжайте работать.

Не знаю, какие чувства и мысли посетили министра в эту неприятную минуту. Должен, однако, констатировать, что во все последующие шестнадцать лет он не повышал на меня голос, не то что кричал, хотя ситуаций, провоцировавших его на проявление начальственного нрава, случалось предостаточно. Позволю себе даже констатацию, что после необычного для МИДа объяснения в Громыко затеплилось человеческое ко мне расположение.

Проявлялось это чаще всего в специфическом для него виде. Поручения сыпались словно из рога изобилия. Не соблюдалось никаких географических, страноведческих и политических условностей. Европа, Америка, Ближний и Дальний Восток, военно-политические союзы, «третий мир», соцсодружество. Вас оснащают несколькими папками телеграмм, документальными досье и ставят сроки, нисколько не интересуясь, остались ли у вас силы после завершения работы над заданием, законченным накануне.

В январе 1965 г. мне вверяется руководство «группой советников при министре». Я обязан пропускать через себя всю информацию, поступающую в МИД, и дважды на дню делать доклад лично и только А. А. Громыко. Министр мог дать указание ознакомить (устно) с тем или иным документом своих заместителей, но это случалось нечасто. И совсем редко в особо секретные данные посвящались заведующие отделами.

Вскоре стало очевидным, что при любом усердии немисливо даже бегло прочитать более тысячи страниц текста, которые в течение дня ложились на мой письменный стол. Качество докладов выиграет, если в нашей группе произвести известное разделение труда с правом выхода на А. А. Громыко моих сотрудников. Р. А. Сергеев и А. С. Каплин (будущие послы) торят тропу в министерский кабинет. За мной утренний обзор и общая координация. Экстренные случаи, понятно, не в счет.

Увы, «группе советников» доставалось не больше трети моего служебного времени. Остальное поглощали поручения самого министра, а также задания через министра из Кремля и со Старой площади. Не слишком приятной и весьма трудоемкой оказалась экспертиза проектов, готовившихся в отделах и заместителями министра перед тем, как за них брался Громыко.

Неприятной потому, что против желания я попадал в положение цензора или экзаменатора. Трудоемкой – в силу того, что замечания, выраженные письменно или устно, министр тебе же и поручал реализовывать.

И возражать было трудно: проекты следует привести в соответствие с большей суммой первичных данных, ими отделы и заместители министра не располагали. От этого, однако, мое положение не облегчалось. Лишь в одном министр пошел навстречу – мое участие в доводке чужих проектов не должно афишироваться. Будь заранее известно о создании промежуточного корректировочного звена, качество проектов проиграет.

Но самой неблагоприятной обязанностью оставалось участие в подготовке текстов выступлений самого министра и некоторых членов политического руководства. Иногда впрямую было лезть на стену. Представьте себе, речь А. А. Громыко на XXIII съезде КПСС писалась в 17 вариантах. Министр метался – каким темам и мыслям отдать предпочтение? Чувствуя трагичность положения, когда счет проектов перевалил за дюжину, он спрашивал: под каким номером внести очередную редакцию в реестр? В тон вопросу я отвечал: мы превзошли Льва Толстого в его работе над «Анной Карениной», но еще отстаем от числа авторских вариантов при создании «Воскресения». В конце Громыко вернулся к четвертой редакции.

Незначительный эпизод, который, однако, как нельзя лучше иллюстрирует, сколько сил и времени уходило на бумагомарание, на суету, в чем-то, возможно, полезную, если принять в расчет, что речи, интервью, статьи стали методом развития теории и введения прецедентов в практику. И все-таки несоразмерную с издержками. В долгий ящик попадали реальные дела. На них уже не доставало ни времени, ни энергии. О готовности критически и системно осмысливать совершенное и совершаемое можно было говорить лишь в порядке исключения.

Бурная жизнь то и дело подбрасывает взрывной материал. После доклада совершенно секретного донесения, касавшегося высказываний нашего посла в Алжире по поводу свержения Бен Беллы, министр заметил: «Больше эту тему не поднимайте». Спустя день поступают дополнительные настораживающие сведения – посол Н. М. Пегов впадает в оппозицию к новому режиму. Обращаю внимание Громыко на опасность осложнений в советско-алжирских отношениях.

Министр снимает очки и строго спрашивает:

– Вам что, устного указания мало? Пегова не трогать. Странный вы человек. Мое слово для всех в МИДе – приказ, а вы...

Моя реакция его озадачивает:

– Пока вы на коне, большинство норовит вам поддакивать. Не дай бог очутиться вам в немилости, и тогда, возможно, я буду среди немногих, кто не бросит в вас камень.

Громыко чуть слышно произносит:

– Любопытно.

В тот же или на следующий день передо мной материал, требующий незамедлительной реакции. Направляюсь в кабинет министра. Мне дано право доступа к нему в любое время, если только он не занят приемом иностранцев или не ведет телефонного разговора. Обращаясь к Громыко, констатирую:

– Вы запретили комментировать данный вопрос. Я оставляю вам материал, который, на мой взгляд, необходимо как минимум принять к сведению.

Громыко пробегает текст и отрывисто бросает:

– Я посоветуюсь с членами политбюро.

Несколькими часами позже министр возвращает материал и извещает, что решено переместить Н. М. Пегова из Алжира в Индию. Послу предложено немедленно сдать дела в Алжире и вылететь в Москву.

Вы уже, вероятно, заметили, что по части внутренней дипломатии больших высот я не взял. Признаюсь, не ведал, что Н. М. Пегов был свояком М. А. Суслову, человеку номер два в партийной иерархии и ключевой фигуре при выдвижениях и возвышениях.

Летом 1968 г. министр отдыхал в «Соснах». Санаторий «Барвиха», его традиционное прибежище, был на капитальном ремонте. Раз в неделю я посещал Громыко для обзора наиболее существенных событий и проблем. В этот день Громыко не расстался со мной, как было заведено, у себя в номере, а пошел проводить меня до машины.

По пути спрашивает:

– Как бы вы отнеслись к предложению взять на себя обязанности первого заместителя начальника Управления внешнеполитического планирования? Одновременно вы были бы введены в состав коллегии министерства. Я не жду от вас ответа сию минуту. Если вы сочтете предложение неинтересным, то можете ограничиться «нет» без раскрытия мотивов.

Соблюдая приличия, благодарю Громыко за доверие. Исключено – я не стану работать под начальством А. А. Солдатова, главы управления. Дипломат старой выучки, он обладал обостренным чутьем касательно «высокого мнения» и готовностью в любой момент подстроиться под него. Сотрудничать с ним было для меня мукой. Подчиняться? Не может быть и речи. Министр, возможно, перепроверяет, насколько я устойчив перед карьерными соблазнами, – ведь мне дается шанс стать самым молодым членом коллегии МИДа.

Ждать новой встречи с Громыко не пришлось. Министр приглашает нас с послом А. Г. Ковалевым обсудить концепцию своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После разговора втроем Громыко отводит меня в сторону и дает поручение ознакомить с некоторыми из докладывавшихся ему материалов замминистра В. В. Кузнецова. Удобный момент сказать о моем отношении к переходу в Управление планирования. Не успеваю произнести до конца домашнюю заготовку, министр перебивает меня:

– Мы условились, что вы говорите «да» или «нет», не вдаваясь в детали. Сосредоточьтесь на проекте для ООН, это сейчас важнее.

По дороге в Москву рассказываю Ковалеву об инициативе министра и моем отклике на нее. Проницательный и умудренный в дворцовых перипетиях, мой давний товарищ вычисляет:

– Министр созрел для того, чтобы ты расправил крылья. Он предпочел бы видеть тебя в Управлении планирования, которое задумано как большой совет при министре. Но раз этот вариант не прошел, вскоре он предложит тебе альтернативный.

Так и случилось. Через неделю я с рутинным докладом в «Соснах». Министр в хорошем настроении. По внешнему виду – отдых идет ему во благо. Меня удивляла способность Громыко быстро восстанавливаться после колоссальных нагрузок, которые он принимал на себя, частично вследствие чрезмерной централизации ответственности внутри аппарата. В завершение собеседования вопрос министра:

– Как бы вы посмотрели на то, чтобы возглавить 2-й Европейский отдел? Лаврова мы отправим за рубеж. МИД войдет в установленном порядке с инициативой о назначении вас членом коллегии. Этим мы дадим понять Англии, Канаде, Австралии и другим странам, что развитие отношений с ними получает приоритет.

Министр ждет, что «нет» не будет сказано. Он предлагает подумать и сообщить мое мнение, заранее обещая выделить в помощь опытных дипломатов, если в этом будет необходимость.

Сомнения в целесообразности смены жанра есть, и скрывать их не в моих правилах. Серьезными знаниями по Британскому Содружеству я не обладаю. Английский язык стал более чем пассивным. Руководить сотрудниками, которые выросли на ниве классической английской дипломатии, будет неловко.

– Вот и прекрасно, – замечает министр с юмором, присущим ему в минуты внутренней уравновешенности, – вы отдаете себе отчет в ваших слабостях. Это предпосылка к их успешному преодолению.

Неисповедимы пути Твои, Господи. Не думал, не гадал, как оказался в море необычных для меня забот, новых персоналий, обширного свода условностей, которыми не всегда можно пренебречь. Прощайте мечты о научной деятельности, о возможности зарыться в книги и архивы.

И без ответа остался для меня вопрос: почему А. А. Громыко отказывался от моих услуг руководителя его тайной канцелярии? В ком-то заронила тревога, что я стал слишком осведомлен? Не похоже. Сам я поводов для подозрительности не давал. Или имело под собой основание утверждение, что министр не без ревности реагировал на реплики, приписывавшие мне чрезмерное влияние на формирование позиции МИДа и стилистику документов, выходивших из стен министерства?

Надо признать, что в 1964–1967 гг. от четверти до трети серьезных документов МИДа писались или основательно редактировались с моим участием. Не каждому это приходилось по вкусу, хотя меньше всех каторжный труд нравился мне самому.

С перемещением во 2-й Европейский отдел разгрузки от «отхожих промыслов» не наступило. Разве что на первые три-четыре месяца. А потом – до полудня в отделе, затем непонятно где.

С мая 1967 г. стало вообще неясно, где мое рабочее место. Громыко превратил меня в уполномоченного по ближневосточным делам. Об этом опыте стоит рассказать чуть позже, ибо он раскрыл мне глаза на многое и многих, так же как и события следующего, 1968 г., развернувшиеся вокруг Чехословакии. Рассказать в деталях как очевидцу, ничего не убавляя и не примысливая.

В августе 1968 г. снова перемена в моей биографии. Громыко настаивает, чтобы я принял 3-й Европейский отдел МИДа, осиротевший с уходом А. И. Блатова в аппарат ЦК КПСС. Склонность к перемене мест не моя черта. Я не обманывался – радикального обновления британского газона совершить мне не удалось. Подсеяли, местами подстригли, сорняк выволокли. На большее не достало времени и веры сотрудников отдела в собственные силы.

Может быть, 3-я Европа избавит от иррегулярных обязанностей и повинностей? В разговоре с министром ставлю вопрос так: если германское направление будет главным и единственным в моей работе, то предложение принимаю. Совместительство на данном участке делу совершенно противопоказано.

Громыко не связывает себя твердыми обещаниями.

– Будем стремиться входить в положение заведующего, насколько это возможно.

До первых чисел декабря 1968 г. включительно меня не отпускали чехословацкие сюжеты. В канун Нового года удалось в несколько приемов сосредоточиться на критическом осмыслении дальнейшей линии в германских делах. Открывался при всей чересполосице, наверное, самый плодотворный период моей дипломатической деятельности.

При пересказе своей одиссеи я буду придерживаться канвы реальных событий и отношений между их действующими лицами. Внешне многое покажется увлекательным и занимательным. Но по прошествии стольких лет и мне тогдашние подсижки и страсти представляются мелочными, не заслуживающими переживаний и дурного настроения. Но когда-то все воспринималось иначе. Часто с зарубежными партнерами было легче, чем с чиновниками МИД СССР и других ведомств. Вместо координации действий вы наталкивались на obstruction, на глухое недоброжелательство.

Ю. В. Андропов однажды заметил в разговоре со мной:

– Читая твои телеграммы (из Бонна), живо ощущаю, как ты кипишь. Мне это знакомо. Будучи послом, я тоже пытался прошибить лбом бюрократические стены. Шишки набил, стены не своротил.

В сентябре 1978 г. Л. И. Брежнев, как и обещал, отозвал меня в Москву. Практически он же определил и место моей дальнейшей работы – Отдел международной информации ЦК КПСС. Далеко не Эрмитаж, солнышком ясным взошедший было на горизонте, даже не Институт АН СССР, но поодаль от МИДа – уже хорошо.

Получилось ли из отдела задуманное? И да и нет. Нашел я себя в аппарате ЦК? Покой мне только снился. Л. М. Замятин в функции непосредственного начальника напоминал уравнение с тремя неизвестными. В конце 1982 г. из его интриганства высекся мой конфликт с Ю. В. Андроповым, поднявшимся к тому времени на пост генерального секретаря ЦК партии.

Не сразу получаю место политического обозревателя в газете «Известия». Прежде надо было выстоять перед массивным давлением секретарей ЦК, старавшихся исполнить волю Андропова, уже назначившего меня первым заместителем к С. Г. Лапину, председателю Комитета по телевидению и радиовещанию. Зато впервые за тридцать с лишним лет я овладел правом распоряжаться своим временем, выступать под своим именем с собственным мнением, возможностью читать, читать и читать все, что меня интересовало, а не требовала служба.

За неполных три с половиной года в «Известиях» написаны кандидатская и докторская диссертации. Завершено наконец дело, начатое в 1952 г. Правда, не совсем по теме, облюбованной когда-то («Внешние сферы приложения западногерманского капитала»), и с перепрофилированием из политэкономов в историки. С карандашом проштудированы монографии, документальные сборники, позволившие глубже вникнуть в технологию выработки военно-политических решений Вашингтона, а также Лондона перед, в ходе и после Второй мировой войны. В 1985 г. работу в газете я совмещал с научной деятельностью в Институте США и Канады АН СССР. Планировал сделать затем институтскую часть работы основной, и, честно говоря, постфактум весьма сожалею, что вернулся в политику.

Случилось это так. В начале декабря 1985 г. был завершен труд над текстом докторской, который надлежало представить в ученый совет Института США и Канады (ИСКАН). Четыреста с лишним листов, что отстучала на машинке моя жена, сложились, перечитанные и выправленные, в аккуратные четыре стопки. Часы показывали второй час ночи. Наутро сдаем манускрипт ученому секретарю ИСКАНа Г. М. Пуговкиной и сразу в дом отдыха, что очень кстати, ибо диссертация забрала все силы.

Решаем для себя – максимум времени на воздухе, никакой политики, какие бы маститые собеседники ни втягивали нас в воспоминания или обсуждение текущих проблем. В библиотеке отбираем только художественную литературу в дополнение к захваченным из дома непрочитанным выпускам «Нового мира», «Знамени» и «Октября». Фильмы смотрим с большим разбором, шумные, как и заунывные, не про нас.

Неожиданный телефонный звонок из Москвы. Мужской голос, удостоверившись, что разговаривает со мной, представляется и сразу к сути – министр иностранных дел хотел бы встретиться со мной в ближайшие день-два. Признаюсь, моя спонтанная реакция была щетиистой:

– У меня нет вопросов к Шеварднадзе. Кроме того, я только что вырвался в отпуск и не имею в виду его прерывать.

На другом конце провода – молчание. Там ожидали явно иного отклика. Работник секретариата повторяет, что Эдуард Амвросиевич приглашает меня на личную встречу, у него имеются некоторые вопросы ко мне и соображения. Время встречи министр оставляет на мое усмотрение.

Жена удерживает меня от дальнейших резкостей:

– Зачем ты так, Шеварднадзе не сделал тебе ничего плохого.

Уступаю ей.

– Если пришлете машину, готов прибыть в МИД утром завтра или послезавтра.

Самое скверное – неведение. Все равно, пока не узнаю, что к чему, буду не в своей тарелке. Задуманное отвлечение от каждодневных треволнений сорвалось. Надо спасать то, что поддавалось спасению, из трехнедельного отпуска.

В назначенное время я у Шеварднадзе. Он неплохо вписался в знакомый мне интерьер, а бархатная манера говорить придает беседе некую доверительность.

Суть вводного монолога нового хозяина кабинета сводилась к следующему. Положение страны наисложнейшее. На карту поставлена судьба социализма. Успех дальнейшего хода дел зависит от того, удастся ли собрать на платформе новой политики людей, способных и готовых к действию.

– Я давно и с интересом наблюдал за вами и очень сожалел, что в какой-то момент в вашей деятельности произошел перелом. Могу сообщить, что две комиссии по поручению политбюро специально проверяли сигналы (уточняет, о чем шла речь), которые вроде бы поколебали доверие к вам Андропова. Комиссии установили, что претензии были надуманными. Для недоверия оснований не имелось. Дипломатическая служба и я в качестве ее руководителя приветствовали бы, если бы вы вернулись к внешнеполитической работе. Конкретно вам предлагается возглавить управление планирования министерства с самыми широкими творческими полномочиями.

Шеварднадзе просит принести чай. Интересуется моим здоровьем, как идет отпуск, извиняется, что нарушил его течение. Словом – подчеркнутая предупредительность.

– Все, что стряслось в 1982 году, пережито. После вашего сообщения, что претензий ко мне нет, могу умирать спокойно. Вместе с тем, выслушав вас, склонен заключить, что подоплека вашей размолвки с Андроповым в поле зрения комиссий не попала.

Далее отмечаю, что работа в «Известиях» меня вполне устраивает. Она оставляет мне время для науки и для семьи. Снова впрячься в государственные обязанности значило бы (в который раз!) бросить незавершенным труд над диссертацией, теперь уже навсегда.

– По поводу управления планирования могу сказать то, что приготовил для Громыко в ответ на его аналогичное предложение двадцать лет назад. В своем нынешнем виде управление недееспособно и не нужно. Это не рабочий орган, а отстойник, в коем заслуженные и незаслуженные дипломаты переживают паузу перед очередным выездом за рубеж. Вместо него стоило бы создать подразделение в составе 12–15 специалистов, обладающих глубокими знаниями, а главное – собственным мнением и желанием отстаивать его в диспутах на любом уровне. Сложно сколотить подобную группу. У меня нет ни времени, ни сил, ни особой тяги заниматься этим.

Шеварднадзе перебивает меня – он лично был бы за то, чтобы предложить мне пост заместителя министра. Но ряд членов политбюро относятся к этому «с резервом».

– Вот видите, – подхватываю аргумент собеседника. – Не стоит разочаровывать руководителей-скептиков, а также давать повод для очередных спекуляций обывателям. В конце концов должность политобозревателя в «Известиях» ничуть не хуже и в чем-то заметнее невидимых плодов корпения в МИДе.

Министр вводит в оборот козырной довод:

– Вы, очевидно, догадываетесь, что наша беседа происходит с ведома и по поручению Горбачева. Что я могу доложить ему?

– Доложите, что я искренне желаю генеральному секретарю успеха в реформировании системы. Состояние общества незавидное. Жаль, что признание фактов приходит поздно. За то, что вспомнили обо мне, спасибо. Должности меня не интересовали и не интересуют. С точки зрения интеллектуального самоощущения сегодняшние занятия дают мне больше, чем все, что я делал до сих пор, и потребности к переменам у меня нет.

Шеварднадзе почти не скрывает своего разочарования. Он спрашивает, когда примерно ожидается защита докторской диссертации. Предлагает точек над «i» не ставить. Несколько дней на раздумье, и, как только решение окончательно созреет, переговорим опять.

Раз собеседнику так удобнее, не тактично ему отказать. Обещаю не задержать со звонком. Шеварднадзе уловил, что я намерен отделаться телефонным контактом, и фиксирует, что ждет продолжения беседы у себя в кабинете.

Встреча состоялась меньше чем через неделю. Как только позволил рабочий календарь Шеварднадзе. В течение часа собеседники повторяли в основном ранее сказанное. Когда, однако, из уст министра я услышал о своей «реабилитации», то сказал:

– Как пропасть не перескакивают в два прыжка, так и честь не восстанавливают по частям. Если у ваших коллег по политбюро сохраняются сомнения, то следует повременить, пока они рассеются. Меня политика не влечет.

Расстались прохладно:

– Если вы измените свое мнение насчет возвращения в систему МИДа, просьба сообщить. Мое приглашение остается в силе, но теперь инициатива за вами.

А. Н. Яковлев передавал мне, что министр доложил М. С. Горбачеву о наших встречах так: «Обида засела в Фалине слишком крепко, он не готов к мировой».

От мыслей и переживаний, разбуженных Шеварднадзе, не отгородишься. Они вольно-невольно твои спутники. Достаточно было увидеть среди отдыхающих посла Л. И. Менделевича, моего коллегу еще по Комитету информации, или помощника генсекретаря А. С. Черняева, и вы опять с вопросами без ответов. Пора в редакцию «Известий». За делом легче обрести душевное равновесие.

Не вышло по-моему. Сразу после Нового года со мной созванивается А. Н. Яковлев и просит подъехать в Волынское. Там в особняках Управления делами ЦК квартировали бригады, формировавшиеся для подготовки материалов к совещаниям, пленумам, съездам.

– Есть потребность посоветоваться, – поясняет Яковлев цель своего обращения.

Особняк номер три. На втором этаже временный рабочий кабинет Яковлева. Рядом конференц-зал, наполовину занятый длинным столом.

– Не утомился отдыхать? Постоял у причальной стойки в тихой гавани, и будет.

И затем всерьез:

– У меня к тебе личная просьба: поучаствуй в подготовке доклада Михаила Сергеевича на XXVII съезде. Кое-какие наброски к внешнеполитическому разделу имеются. Ряд моментов как будто вырисовывается. Но по содержанию и по форме до нужных кондиций на концепцию нового политического мышления не тянет.

Не буду занимать место и время пересказом нашего словесного фехтования. Сошлись на следующем. Мне даются первичные материалы, я делаю вариант с добавлением всего, что сочту нужным. После обмена мнениями с А. Н. Яковлевым готовлю текст для представления заказчику. При условии, что перепечатка будет вестись в Волынском или в секретариате отдела пропаганды на Новой площади, работать над проектом мне дозволено в «Известиях».

Под занавес технические неудобства заставили меня осесть на пару дней в особняке номер три. Там меня ждало открытие – к написанию внешнеполитического раздела был приглашен также академик Г. А. Арбатов и к доводке его стилистики заместитель министра иностранных дел и поэт А. Г. Ковалев.

Сдаю свой вариант Яковлеву. Он нашел, что основа добротная. Ряд положений неплохо бы развить, а если появятся дополнительные идеи, это будет только приветствоваться.

Миновала еще неделя. Яковлев немного торжествует, доверительно сообщает, что Горбачев принял плоды наших трудов. Проекты других разделов доклада генеральный забраковал и возвратил на капитальную переделку. По нашему материалу у докладчика два пожелания:

поджухать объем и подсушить язык, чтобы не выпадать из общего контекста. И вдруг огорошивает:

– Я намерен назвать твою кандидатуру на пост председателя правления АПН, как ты на это взглянешь?

– Отрицательно. Куча административных обязанностей при минимуме возможностей для творческой работы.

Напоминаю, что только что отклонил приглашение Э. А. Шеварднадзе вернуться в МИД. Один из доводов – не буду, выйдя на финишную прямую, прерывать работу над диссертацией. Нелогично и неоправданно, если бы моя точка зрения изменилась применительно к АПН.

Яковлев не отступает:

– В МИД, на твоём месте, я бы тоже не пошел, даже на роль заместителя министра. В заместителях и подчиненных ты уже насиделся. Попробуй реализовать себя на большой самостоятельной работе, где за тобой распределение обязанностей и формирование собственного графика. Форсируй диссертацию, и думаем дальше.

– Ваши аргументы меня не разубедили. Помимо всего прочего, поздновато в шестьдесят лет менять экипаж и свое кресло в нем.

На этом мы расходимся по своим комнатам, чтобы погрузиться в доводку доклада.

Лукавить не хочу – участие в написании внешнеполитического раздела доклада генсекретаря принесло удовлетворение. Удалось реализовать с разной степенью выпуклости некоторые из давно вызревших оценок. В свете прорисовывавшихся заделов надежды на конструктивный поворот в международной сфере не казались иллюзорными. Много значила для меня открытость Яковлева свежим веяниям и идеям, видение происходящего в реальном масштабе времени. Тогда еще без заносов и самоедства.

Вместе взятое, это и предопределило мое конечное согласие на переход в АПН. Интуиция предостерегала: ты вступаешь на тонкий лед. Что под ним? Бездна? Или рифы? О них при погрешности в курсе корабль, одряхлевший и неповоротливый, может разбиться. Эйфория, по-иному – массовый психоз, захватила.

На три с половиной года моим рабочим адресом стало агентство печати «Новости». Яковлев же сосватал меня затем на заведование Международным отделом ЦК КПСС. Опять-таки с его подачи – дабы обеспечить «преемственность» – Горбачев рекомендует избрать меня в состав секретариата ЦК партии.

«Присматривать» от политбюро за отделом, то бишь за мной, назначили Г. И. Янаева. Это дало пищу для недоумений и спекуляций, а мне повод подтвердить генеральному секретарю желание подвести черту под политической карьерой не позднее 1991 г., когда исполнится полвека моей трудовой деятельности. Горбачев откликнулся своим обычным «хорошо, хорошо, доживем – увидим». Не дожили.

Достойное уважения начинание деградировало, как и его отцы. На глазах угасала великая держава, разваливалась ее экономика, развенчивались идеи, которые совсем недавно вдохновляли целые нации.

Случившееся имеет свои закономерности. Главная из них может быть охарактеризована предельно кратко словами И. В. Гёте: «Беспринципность рано или поздно кончается банкротством». Нельзя быть одновременно демократом и бояться демократии. Невозможно присягать клятву свободе мышления и стать нетерпимым к чужому мнению. Немыслимо одной рукой демонтировать тоталитаризм, а другой – защищать собственный авторитарный стиль правления. Нельзя, наконец, без счета плодить обещания, не удосуживаясь вплотную заняться делом.

Мне не подобает облачаться в мантию судьи. Пусть за себя говорят факты. Из них каждый волен сделать выводы, которые подскажут здравый смысл, опыт, совесть. Одного надо бы избежать – искать соринки в чужом глазу, не замечая бревна в собственном.

Нагородят прописных и приписных истин. А дальше что? Сменят каждый знак минус на плюс и наоборот, полагая, что итог сойдется. Снежный ком можно, конечно, накатать и на бесснежье. Легко начисто разучиться думать, когда можно говорить все, а свободу соперничества групп и фракций за власть, за кусок пирога приравнивать к гражданским свободам.

Нет, подавляющее большинство политиков – явно не саперы. Саперам дано ошибаться только раз. Политики экспериментируют на других. Их не снимают с дистанции даже после полудюжины фальстартов. Они претендуют на вседозволенность, на утверждения, которые, по выражению видного американского государственного деятеля, не требуют «юридического основания». Кажется, и все тут. А мерещится тем чаще, чем более зыбка почва под ногами или чем сильнее желание и предрассудки подминают здравый смысл.

Не будем обманывать себя и забывать, что палитра предрассудков много богаче «измов» идеологического происхождения. Противостояние Запад – Восток слишком долго выступало как ось коловращения. Ныне оно отпало. Обрел ли мир новое состояние, в котором почти сами собой реализуются посулы всех помазать миром? Всегда не хватает минимума, чтобы достичь максимума, подсказывают остряки.

Исторический недород, поразивший Россию, которая семьдесят четыре года называлась советской, будет иметь долгие последствия. Народ талантами не обойден, в терпении поспорит с кем угодно. Труднее ответить на вопрос: не вычерпали ли правители это терпение ниже критической отметки? Инертность, безразличие, неверие ни во что – это даже хуже, чем отчаяние. Остается уповать на знаменитое русское «авось». Пронесет, должно пронести.

Жил когда-то на наших просторах великий народ скифы. Без малого тысячу лет прожил. И исчез, оставив в память по себе курганы. Царские, огромные, и ростом поменьше, временем стертые до нераспознаваемости. Почему так случилось, куда целый народ запропастился, где его потомки? Одни этнографы хотят видеть наследников скифов в аланах, другие тянут нить к осетинам, третьим чутье подсказывает искать следы в калмыцких степях.

Повторения скифского чуда или трагедии не будет. Для этого надо было бы перестаться, превратить русских в диаспору без национального очага и, прежде всего, без самосознания и самоощущения. Такой угрозы вроде бы пока нет. Судя по опросам, почти 70 процентов русских хотели бы родиться именно в России и, несмотря ни на какие трудности, не склонны менять свое Отечество ни на какое иное. Так долго, как долго существует Отечество. Рано сочинять ему реквием, хотя для оптимистов ныне не лучшая пора.

Из последующего рассказа вы, читатель, сможете убедиться, что трудности и препятствия не побуждали меня отступать или менять свои представления в угоду личностям. С упрямством, возможно достойным лучшего применения, я тянул лямку, веря в прозрение.

Мудрый араб изрек: все, что должно сбыться, сбудется, даже если сбудется не так. Назовите это оптимистическим фатализмом. Без него трудно было бы выстоять, не раствориться во мраке, который, между прочим, распространяется тоже со скоростью света.

Берлин и далее с остановками и пересадками

После окончания института, летом 1950 г., я ехал в Берлин, к месту своего назначения, в аппарат Советской контрольной комиссии для Германии, тридцать шесть часов поездом через Смоленщину, Белоруссию, Польшу, которые еще не воспрянули от потрясений войны. Вот и Франкфурт-на-Одере. Молча, пустыми глазницами окон он взирает на приезжающих и проезжающих. У него свои боли и горести. Еще полтора часа – и Берлин. О чем можно думать, глядя на него, тогда четвертованного? Отвоевались? Все: и побежденные, и победители, или?..

В Берлин я приехал с набором сомнений в себе и в других. В детстве они выражаются обычно любознательными «почему». В более зрелом возрасте любознательность трансформируется в обостренную реакцию на несуразности, несправедливости, противоречия. Им не виделось предела.

Безумия насилия не должно больше быть. Никогда. А что делать, если война не кончилась, а лишь сменила обличье? В середине 1950 г. холодная и вовсе переросла в жестокую корейскую бойню. Кто и почему ее развязал? Насколько велика опасность превращения неядерного конфликта в ядерный? Никакой уверенности в завтрашнем дне. Официальные и официозные версии, распространявшиеся на обеих сторонах, убеждали чаще в обратном. Особенно когда имелась возможность смахнуть пропагандистскую пену и прикоснуться к реалиям.

Первый выстрел прозвучал с Севера. Отчего же его жаждал, так на него напрашивался Юг? С чего бы события так «удачно» вписывались в наметки западных стратегов, продвигавших планы обустройства сразу нескольких театров военных действий, не в последнюю очередь европейского? Когда случайностей и совпадений перебор – это уже тенденция, если не закономерность.

Не верилось, что Сталин мог снова так крупно просчитаться. Не должен был, имея первоклассную разведывательную информацию. Она позволяла вычислить, как в действительности зовется распустье.

Подобные вопросы укладывались при «правильной постановке» в понятие идейной чистоты. Ни о каком предмете, ни о какой истине нельзя высказаться полно, не произнося о них два противоположных суждения. К. Маркс пошел даже дальше Гегеля, оставив своим последователям завет – «все подвергать сомнению». В наши времена негласно уточнялось: все, кроме слов «хозяина».

Но вот сотрудник Института современной истории извещает меня – он находился в одном концлагере вместе с сыном Сталина, знает подробности пребывания в заключении Якова Джугашвили, может точно указать место его гибели. Докладываю руководству с советом проинформировать Центр. Телеграмма ушла по назначению. Отсутствие реакции побудило ее повторить с намеком на то, что здоровье у свидетеля некрепкое. Нам дали понять – ответа не будет.

Это вызвало чувство протеста. Как может человек, неспособный быть отцом собственному сыну, претендовать на роль отца народов? Все не так. Слишком много противоестественного в нем самом и вокруг него.

Сталинское сусло кончало во мне бродить. Надобно основательнее разбираться. Беру тайм-аут с оформлением членства в партии. Во второй раз. В войну, работая на заводе токарем, воздержался без раздумий откликнуться на призыв настроичить заявление о приеме в партию. Кривить душой не хотелось, а пришлось бы.

Сказать, что все без разбору мне нравилось, не мог, а уточнять, что не нравится, не должен был. Или вас обязательно спросят, как по части «врагов народа» в семье. Двоюродный брат отца был уведен из деревенского дома и пропал бесследно. Неизвестно даже, в чем его обвинили. Мужа сестры матери, начальника строительства большого оборонного объекта под

Хабаровском, приговорили «к десяти годам заключения без права переписки». За «шпионаж в пользу Японии». Лишь в 1956 г. нам стало известно, что дядька тогда же, в 1937 г., был казнен.

В 1937–1938 гг. мы с родителями поджидали в тревоге каждую близившуюся ночь – не раздастся ли в нашу дверь стук карающей руки. А днем я помогал отцу относить в котельную дома собрания сочинений Н. Бухарина, Л. Троцкого и других опальных, чтобы предать книги из его библиотеки огню.

Так как мне надлежало бы отвечать насчет «врагов народа»? Проклясть их и предать себя? Встать на защиту, не зная, в чем состоит вина? Ныне проще некуда. Особенно для вчерашних сверхортодоксов, листающих архивы. Они решают проблемы и угрызения способом «экономного мышления» Авенариуса или Маха, оставаясь все теми же ортодоксами, только наоборот.

Я не обладаю способностями по звону бокала определить, кто и какое вино пил из него десятилетие назад. Требовались опыт и знания. Их предстояло накопить. До обобщений было еще далеко.

Из партнеров моего берлинского заезда выделю В. Штофа, он был заведующим Экономическим отделом ЦК СЕПГ, П. Вернера, К. Ширдевана, Ф. Далема, О. Нушке. С ними встречался чаще других и позволял себе вести менее формальные разговоры. В обстановке всеобщей подозрительности и провокаций ростки доверия пробивались трудно и часто, не окрепнув, погибали. Бургомистр Фриденбург, по-моему, это был он, отчаявшись найти нормальный язык с нашими представителями, заявил: русским нужны рабы, а не друзья.

Некоторым, и не обязательно русским, – возможно. Но не всем и вовсе не большинству. Меня лично рабская преданность не привлекала, а психология подбострастия отталкивала. Именно тогда я крепко-накрепко усвоил мудрость откровения: если хочешь иметь друга, будь им.

На Унтер-ден-Линден, в центре улицы напротив Оперы, большой фанерный щит с портретом популярного в 40-х гг. советского писателя. Надпись: «Да здравствует Илья Эренбург, лучший друг немецкого народа!» Яснее ясного – перед вами образец ядовитого берлинского юмора. Естественно, «лучшего друга» не сыскать, чем человека, все годы войны звавшего: «Где встретишь немца, там его и убей!» Любого немца, без разбора.

Странно, никого это не колышет. Усердие превозмогает даже инстинкт. Обращаюсь в политотдел, что состоял при маршале В. И. Чуйкове:

– Неужели не понятен издевательский или саркастический смысл здравицы Илье Эренбургу? Это даже хуже, чем преподнесение Пику в честь партийного события гинекологического кресла.

– И более умные люди проезжали мимо щита с портретом, и ни у кого не возникало замечаний, – отвечает мне полковник весом пудов десяти.

Именно такие ревнители «дружбы» норовили в каждом восточногерманском городе иметь улицу Сталина и переулок Маяковского, а оперным театрам пришить имя М. Горького или кого-нибудь в этом роде. На месте городских парков, как в Магдебурге, появлялись «кладбища для советских граждан» и т. п. Умри, Денис, хуже не придумаешь. Так и рвалось сказать, переиначивая знаменитое восклицание.

На следующий, 1951 г. я с треском провалился с другой своей затеей. Восточный Берлин готовился принять гостей Всемирного молодежного фестиваля. Надо же мне было вылезти с предложением перестать сотрясать воздух заклинаниями в вечной дружбе, а вместо этого принять участие вместе с немцами в паре-другой воскресников на строительстве спортивных и прочих сооружений. Наши молодые сотрудники застоялись без полезного физического труда, солдаты были рады вырваться за ограду казарм, познакомиться с немецкими парнями и девушками.

– Вы отдаете себе отчет, куда тянете? У нас и без того голова болит за моральное здоровье коллективов. Это вам мало контактов с местным населением, по мне – их слишком много.

Полковник потребовал от меня удостоверение. Наверняка брал на заметку как подозрительный и ненадежный элемент. Где мне было знать, что политсократы готовили проект уникального приказа, который В. И. Чуйков вскоре и подмахнул, «О введении режима оккупации среди советских граждан». Ни до, ни после мировое правоведение ничего похожего не знало.

Пора, однако, обратиться к моим прямым служебным делам.

Ранней осенью 1950 г. в Люкенвальде собрались левые со всей Германии. Помимо коммунистов и узников нацизма здесь профсоюзные и молодежные лидеры. В президиуме политическое руководство ГДР во главе с В. Пиком, О. Гротеволем, В. Ульбрихтом. Присутствующих свело вместе решение о ремилитаризации ФРГ, неподдельная тревога за будущее немцев, которых сбивали на тропу войны.

Такие конференции, митинги, собрания проходили без числа на западе и востоке Германии. В каждой семье велись ожесточенные дебаты вокруг «немец, что дальше?». Из разрозненных протестов, озабоченностей, сомнений составителся потом массовое движение «Без нас», которое доставило много треволнений в Бонне и Вашингтоне. Совещание в Люкенвальде не заслуживало бы отдельного упоминания, если бы...

Едва мы возвратились в Карлсхорст, нашу группу вызвал к себе политсоветник В. С. Семенов.

– Почему не докладываете о ЧП, которое произошло на встрече в Люкенвальде? По вашему, я должен узнавать об этом через Москву?

– О каком чрезвычайном происшествии речь?

– Час от часу не легче! Пик призвал к свержению антинационального режима Аденауэра, а представители Советской контрольной комиссии, делегированные на встречу, и ухом не повели. До Сталина весть об этом докатилась, он встревожен, а вас только пушки проймают.

– Выступление Пика содержало тезис о необходимости сорвать во что бы то ни стало ремилитаризацию, втягивание Германии в войну, не останавливаясь, если не останется выбора, перед свержением правительства Аденауэра. Но присутствующие, мы тому свидетели, не восприняли эти слова как призыв к действию, тем более к немедленному.

В. С. Семенов требует, чтобы каждый из нас троих воспроизвел мысль В. Пика по своим записям. Заметки в двух блокнотах совпали почти текстуально, и это несколько остудило деланный или настоящий его гнев. Никогда нельзя было быть в ту пору уверенным, рисуется самоуверенный тридцатидевятилетний политический представитель Москвы или он серьезен.

– Садитесь и немедленно пишите телеграмму товарищу Сталину. Изложите идею Пика, как вы только что доложили. И на будущее зарубите: товарищ Сталин должен узнавать все новое об эволюциях в позиции руководителей ГДР от нас, а не стороной. Хватит нам передраг на Дальнем Востоке.

Осложнения с Федеративной Республикой ни к чему. Конфликты из-за ФРГ с Западом не нужны. У Сталина продолжали теплиться надежды, мечты, иллюзии, как угодно, что немцы не захотят никому прислуживать и сумеют сами распорядиться своим будущим. Надежды, по ряду признаков, не оставлявшие диктатора до смерти.

Позднее, когда различия в нашем служебном положении снисвелировались, а на почве искусства возникла даже личная привязанность, мы с Семеновым редко возвращались в 1950–1951 гг. Если и возвращались, то очень избирательно, обходя неприятные или нелестные для начальственной стороны моменты. И как-то получилось, что корейская война в этих разговорах тоже не фигурировала. Поэтому я не могу судить, в какой мере Семенову была известна ее подноготная.

По достоверным данным, Сталин долго колебался, санкционировать Ким Ир Сену план упреждающего удара или нет. Решающей каплей явилось донесение военной разведки, при-

писавшее администрации США намерение оказать Ли Сын Мыну в случае войны широкую поддержку оружием, советниками, ударами с воздуха и с моря, но не втягиваться в сухопутные операции. Нацеленная дезинформация? Всякое бывало. Когда течение событий приняло нерасчетный оборот, Сталин отправил начальника ГРУ на Дальний Восток – «поближе к району конфликта ему будет виднее».

Писание политических телеграмм для Сталина представляло собой особый жанр. Второй проект вслед за первым бракуется. Чтобы времени не терять и преподать нам, неучам, предметный урок, Семенов берет бланк и привычно бегло выводит: «Собравшиеся горячо приветствовали слова В. Пика о братской дружбе с Советским Союзом... Бурными аплодисментами встречалось каждое упоминание имени товарища Сталина...»

Нектара не доставало в нашем тексте! Не имело ни малейшего значения, несли ли пчелы этот нектар и в чей улей. Будь адресат пресыщен медоточивыми речами, он нашел бы повод умерить восторги. Возможно, тогда Семенов не вставал бы с кресла, когда разговаривал по телефону со Сталиным. Хорошо, что не сгибал нас в почтительном поклоне, хотя порой и выставлял из своего кабинета, чтобы не отвлекали.

Примерно в это же время меня приобщили к подготовке соображений Советской контрольной комиссии (СКК) к совещанию министров иностранных дел восточноевропейских стран в Праге. Оно созывалось, чтобы дать ответ на нью-йоркское решение трех держав от 19 сентября 1950 г., освещавшее то, что давно делалось американцами и англичанами уткой, – формальный отказ от Потсдамских и других предписаний о демилитаризации Западной Германии. Даже при прочтении с расстояния сорока лет не устаешь поражаться двусмысленностям, коими было переполнено «коммюнике о Германии», выпущенное тремя державами. «Защита свободы Европы». Всей или части континента? Если части, то какой? Свобода – чья и от чего?

В некоторых правительственных документах США той поры внутренние изменения в европейских странах, даже не являвшиеся результатом советского вмешательства или поддержки, но объективно отвечавшие интересам Советского Союза, велись как «неприемлемая угроза», а приобретение СССР технической способности к отражению американского нападения и вовсе выдавалось за «агрессию». В общем, если наступление – лучшая оборона, то ссылки на нужды обороны – лучшее прикрытие для подготовки к собственной агрессии.

Трем державам не пришла также более счастливая мысль, чем впрячь в одну упряжку перевооружение ФРГ и легализацию ее претензий выступать на международной арене «за Германию» в качестве представителя всего немецкого народа. Если толковать коммюнике из него самого, а не «интерпретационного замечания», доведенного до сведения К. Аденауэра, то в борьбе за «свободу Германии» не возбранялись никакие средства и методы. Кроме... «нейтральных».

Соображения СКК к совещанию в Праге были приняты во внимание, а предложенные нами формулировки к Пражскому заявлению (21 октября 1950 г.) отразились в его тексте². Это прибавило мне всевозможных заданий.

В самом конце октября или, может быть, в первой половине ноября 1950 г. мне было доверено участвовать во встрече с доктором Г. Хайнеманном. Незадолго перед этим он вышел из состава правительства К. Аденауэра в знак протеста против перевооружения, которым подчеркивался «шанс на мирное решение для Германии». Центр крайне интересовало, что же реально творится в Бонне, какова диспозиция сил в самом правительстве, в бундестаге, во вне-

² Напомню, что в заявлении содержался призыв к подтверждению верности четырех держав принципам Потсдама, беспрепятственному развитию гражданских отраслей немецкой экономики, безотлагательному подписанию германского мирного договора и восстановлению государственного единства Германии, выводу оккупационных войск с немецкой территории в течение года после заключения мирного договора, созданию «общегерманского учредительного совета» с широкими полномочиями.

парламентских кругах, что может быть сделано для предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе.

Известный церковный деятель Пробст Грубер взялся помочь войти в контакт с Г. Хайнеманном. Превзойдя свои обещания, он привез бывшего министра в Карлсхорст, где в одном из особняков, расположенном вне советского городка, и состоялась памятная мне встреча.

Нас, советских, было на ней двое – майор В. Кратин, до войны научный работник в Ленинграде, и я. Должен заметить, что примерно половину сотрудников нашего подразделения СКК составляли офицеры, на старших должностях они были в большинстве. Недели три-четыре спустя В. Кратина спешно отправили в Союз, как утверждали, «в интересах его же собственной безопасности». В чем майор провинился или где подставился, не знаю. Возможно, вообще ничего и не случилось. Двух других офицеров из отдела информации откомандировали, например, за то, что через книжный магазин в Западном Берлине они заказали у швейцарского издательства несколько книг по истории Второй мировой войны.

Что он включил в беловую запись беседы, В. Кратин мне не показывал. В первичном наброске было порядочно отсебятины, на что я не преминул обратить внимание. Попробую обрисовать встречу, какой она запечатлелась в памяти.

Г. Хайнеманн держался просто. Ничто не свидетельствовало: перед вами сановник, вчерашний влиятельный министр государства, которое вносило свою лепту в политическую карту Европы. Протест против ремилитаризации выражен, и демонстративно, но будущее Федеративной Республики теряется в неопределенности, собственное политическое завтра не поддается расчету. В отличие от иных собеседников, прячущих неуверенность и отсутствие идей в многословии, Г. Хайнеманн скуп на комментарии к произошедшему и неохотно пускается в прогнозы.

Да, интерес США к включению западногерманского потенциала в военные усилия НАТО был решающим при создании Федеративной Республики. Затянулись блокада Западного Берлина чуть дольше, ремилитаризация началась бы в день рождения нового государства, причем под лозунгом «самозащиты немцев». Не вышло. Это не значит, что сорвалось. Требовался предлог. «Вы дали его в Корее». Не будь корейской войны, возможно, удалось бы переиграть приверженцев перевооружения. Если бы предпосылкой для этого не имелось, он, Г. Хайнеманн, не вошел бы изначально в состав правительства К. Аденауэра.

Нет, он не считает, что кто-нибудь из министров последует его примеру. Для этого нужна в любом случае реалистическая альтернатива решению трех держав в Нью-Йорке. За Советский Союз никто не ответит, готов ли он к этому. Бундестаг на данном этапе больших неприятностей К. Аденауэру не доставит, хотя во всех фракциях есть депутаты, отдающие себе отчет в важности происходящего.

Он, Г. Хайнеманн, подал сигнал тревоги. Тот, кто способен слышать, услышит. Сделать соответствующие выводы перед лицом фактов должен каждый сам. Это вопрос как политических убеждений, так и совести. Имея в виду последнюю, Г. Хайнеманн предполагает на ближайшее будущее посвятить себя деятельности в рамках евангелической церкви – единственному, что еще не поддавалось расколу.

Попытки В. Кратина разговорить Г. Хайнеманна, выудить из него детали прохождения решения о перевооружении в переговорах между тремя державами и Бонном, а также в кабине К. Аденауэра успеха не имели. Г. Хайнеманн, в свою очередь, поинтересовался планами СССР и ГДР в новой обстановке. Поняв, что у нас ничего примечательного за душой нет, гость взглянул на часы и констатировал, что полтора часа, о которых условливались, истекли и ему пора прощаться.

Сыграла ли наша беседа с Г. Хайнеманном какую-то роль в появлении письма О. Гро-теволя федеральному правительству, в определении его содержания и тональности? Полагаю, что не помешала. К. Аденауэр фактически втянулся в обсуждение условий включения самих

немцев в решение занимавших их проблем. После того как глава правительства ГДР выразил принципиальную готовность рассмотреть требования, выдвинутые Бонном, канцлер впал в агрессивную риторику.

Президент бундестага Г. Элерс дал понять, что не одобряет линии К. Аденауэра, и выступил за продолжение диалога через «железный занавес». Широкие слои немцев на Востоке и Западе, отметил Г. Элерс, не удовлетворены боннской реакцией на обращение О. Гротевояля.

Можно без натяжки говорить о том, что в конце 1950 г. большинство немцев на Востоке не испытывали радости от втягивания Германии в гонку вооружений и обструкции К. Аденауэра, что касается германо(ГДР) – германских(ФРГ) контактов. Результатом действий Бонна могло быть лишь углубление рва между ГДР и ФРГ до размеров пропасти. В этом смысле инициативы О. Гротевояля имели легитимацию независимо от оценок первых после создания Германской Демократической Республики выборов в Народную палату, ландтаги, коммунальные органы власти.

Проводилось голосование не по единым спискам Национального фронта, СЕПГ собрала бы в большинстве городов от 30 до 40 процентов голосов, на селе даже меньше и почти нигде не вытянула бы 50 процентов. Всегда глупые, даже когда условно верные, 99,7 процента раздражали, провоцировали несогласие и сопротивление там, где его могло не быть.

Выступление О. Гротевояля в Народной палате с заявкой на ведущую функцию СЕПГ в системе власти было сопряжено с видимостью победы на выборах 15 октября, с самообманом, неизбежно сопутствующим обману других. Как очевидец могу засвидетельствовать, что провозглашение СЕПГ государственной партией застало ее партнеров по Национальному фронту врасплох. Я ждал, что О. Нушке и другие как-то покажут возмущение, хотя бы недовольство. Дальше недоумения не пошло.

Вспомнились беседа с Г. Хайнеманном и его скепсис по поводу открытого сопротивления на верхних этажах власти политике К. Аденауэра. Дисциплина – вторая религия немцев. Государственная дисциплина и вовсе святыня.

СДПГ и прежде всего ее лидер К. Шумахер особых трудностей для официальной боннской политики не создавали. Терпя неудачу в организации оппозиционной фракции внутри СДПГ, руководство СЕПГ пыталось вызвать к жизни леводемократическое течение, которое, как считалось, могло перехватить у социал-демократов сочувствовавших, в особенности из числа интеллектуалов. Я был приглашен в Кириц на крестины одной из подобных групп, которая должна была называться «социал-демократическая» или «социалистическая акция». За главного от СЕПГ на учредительном собрании выступал Ф. Далем.

Это мероприятие напоминало любительский спектакль без малейших шансов утвердиться в политическом репертуаре. Не стоит останавливаться на том, что через «восточное бюро» СДПГ своевременно получала информацию о покушениях на свой домен и имела возможность их обезвреживать.

В известной степени неизбежно перед ГДР должен был встать вопрос не только о направленности политики, но и о самой природе восточногерманского государства. Направленность предопределялась выходящим из Потсдамского соглашения требованиями выкорчевывания, бескомпромиссного и необратимого, нацизма и милитаризма, демократизации экономической и общественной жизни. Достаточно небольшой тавтологии, добавления к демократизму определения «народный» – и вы одной ногой в социализме.

Отставать ГДР от других или не отставать? Тема дискутировалась на научно-теоретической конференции сотрудников СКК. Различные точки зрения свел воедино и все сомнения разрешил заместитель политсоветника И. И. Ильичев. «В ГДР установился народно-демократический строй, – заявил он в заключительном слове. – Быть по сему». Куда как определенно, хотя не чрезмерно научно и теоретично.

Кто-то должен был, однако, выступить арбитром в спорах, ведшихся не в нашей среде, а в руководстве ГДР. Лучшего «теоретика» марксизма, чем Сталин, тогда не знали. Ведь он собственноручно вписал в макет книги, подготовленной И. Пospelовым и другими, «Сталин – это Ленин сегодня». Он твердо верил, что задача теории – обслуживать практику. А если практика перегружена противоречиями? Тогда и теория не может разыгрывать из себя монашку.

Ясно вам? Не очень. В. Пику тоже не было слишком ясно. Ну, бог с ним, с В. Пиком, одногодок К. Аденауэра угасал, и уже недалеко время, когда он будет выполнять только представительские обязанности во дворце Нидершёнхаузен. Неуютно чувствовал себя В. Ульбрихт – думать и непретенциозно изъясняться в идейной приверженности социализму не возбранялось, но никакого социального раскола Германии сверху, пока «теоретик» Сталин не сочтет, что пора. А может быть, и не придет к такому выводу?

Перспектива строительства социализма в ГДР в ответ на восстановление позиций олигархии в ФРГ и как реакция на перевооружение Западной Германии являлась для советского диктатора пугалом для воздействия на настроения широких слоев немцев и разменной монетой, или, правильнее сказать, золотым слитком в сложной борьбе, что велась с тремя державами. Нет, К. Аденауэр не на пустом месте вычислял, что на четырехсторонней конференции Советский Союз может предложить восстановление единства Германии в качестве демилитаризованного, фактически нейтрального государства. 10 февраля 1951 г. канцлер выступил категорически против такого варианта воссоединения, будто бы навлекавшего великие опасности на немецкий народ как в случае войны (ни один из двух блоков, по его словам, не проявил бы уважение к нейтральному статусу Германии), так и мира (Германия была бы потеряна, попав в поле притяжения Советского Союза, а с ней была бы обречена и вся Европа).

К. Аденауэру верить даже наполовину не обязательно. Но принять к сведению это заявление, сделанное тоже почти на научном собрании – в большом зале Боннского университета, нелишне. Иначе останется неучтенной одна из причин бесплодия предварительной конференции в Розовом дворце (Париж, 5 марта – 21 июня 1951 г.) и непонятой история со знаменитой советской нотой от 10 марта 1952 г.

Официальная западная легенда гласит, что заместители министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции разошлись ни с чем из-за требования обсудить на конференции министров вопрос об Атлантическом пакте и создании американских военных баз в Европе и на Ближнем Востоке. О советских войсках в Германии, заодно в Польше и Венгрии говорить соглашались. Но география размещения войск трех держав интересовала СССР не должна была, ибо эти войска не являлись, по западной версии, «оккупационными».

Министр иностранных дел Великобритании, нарушая традиции Туманного Альбиона, выразился 2 апреля 1951 г. предельно четко – дискуссия о правомерности и неправомерности отдельных решений и заявлений прошлого была бы неплодотворной; непрактично связывать немецкий народ и четыре державы ходом мысли, которого они придерживались в момент капитуляции; необходимо принять к сведению данности в Восточной и Западной Германии и в сотрудничестве с немецким народом положить начало строительству новой демократической Германии. Понятно, полагаю, – на условиях, которые практикуют Вашингтон, Лондон и Париж.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.